

ПОСТМОДЕРНИЗМ И ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Г. М. ТЕМНЕНКО

«Он умен, - подумал Иван, - надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя!»

М. Булгаков

А может быть, и не было никаких этих слов, а были другие на эту же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не это...

М. Булгаков

Современная культурная ситуация в странах СНГ, на первый взгляд, отличается состоянием хаотичности, резкой пестроты настроений, тенденций, деклараций и ориентиров. Слова, которыми более столетия назад Лев Толстой определил в «Анне Карениной» положение дел после реформы 1861 года: «У нас нынче все перевернулось и только укладывается», - в который раз оказываются актуальными именно своей вопрошающей интонацией: *как все уложится в конечном результате теперь?*

Некоторые закономерности идущих процессов ныне уже доступны наблюдению и анализу.

Распад Советского Союза стал не только знаком краха социалистической экономики, политики и идеологии, но и знаком кризисных явлений в святой святых любой культуры - в сфере основных, базовых ценностных ориентиров.

Несостоятельность идеалов, казавшихся совсем недавно для массового сознания незыблемыми, обозначилась сразу в нескольких планах. Инфляция, безработица, преступность - не просто разросшаяся, но претендующая на то, чтобы править бал во всех сферах современной жизни, - все это порождает в умах, даже и не знакомых со знаменитой формулой Гегеля «все действительное разумно, все разумное действительно», - убеждение, что все переставшее существовать или исчезающее на глазах оказалось обречено на гибель по причине своей несостоятельности (читай: неразумности).

Поиск более жизнеспособных и состоятельных ценностей, на которые можно было бы опереться, естественным образом ориентируется в двух основных направлениях.

Первое и традиционное для кризисных ситуаций устремление - прошлое, его уроки, опыт, богатства, традиции. Прошлое неоднородно, оно многослойно, противоречиво. И среди тех, кто обращается назад, мы можем увидеть людей самых различных убеждений: коммунистов, монархистов, атеистов, христиан, мусульман, даже язычников. Объединяет их всех стремление почерпнуть новые силы в родной почве или даже в ее недрах. Оно подчас оказывается настолько сильнее дефиниций конкретных культурных моделей, что смешение разноречивых черт никого не удивляет, и люди, громко подчеркивающие свою приверженность коммунистическим идеалам и в то же время не менее демонстративно скорбящие о Государе Императоре (непрерменно с большой буквы), уже перестали быть предметом насмешек, настолько они примелькались.

Другая тенденция связана с более решительным неприятием сложившихся обстоятельств. Стремление вырваться из-под их власти оказывается столь острым, что вызывает отталкивание от самой почвы, желание максимальных перемен ассоциируется с представлением о полной исчерпанности традиций и устоев отечественной культуры, а в наиболее привлекательном свете выступают в таком случае опыт и установки иных стран и иных культур - новизна становится символом прогресса и успеха.

Сами по себе оба этих направления не являются ни абсолютным благом, ни абсолютным злом. Не являются они и полной противоположностью друг другу. В конце концов, спор между западниками и славянофилами - тоже факт истории отечественной культуры, представляющий более раннюю модель нынешнего менее резко оформленного противостояния.

В результате перестроечных новаций в систему отечественного образования, а кое-где и в систему научного сознания успела войти наука XX века - культурология. Благодаря ей многие проблемы нынешнего времени приобретают характер более оформленный и уместимый.

Осознание того факта, что разрозненные ранее или казавшиеся таковыми сферы человеческой деятельности оказываются связаны между собой теснейшими узами, ориентированы на ценности, формируемые в течение целых эпох, стало весьма плодотворным началом в развитии мировой науки.

В данной ситуации представляют особый интерес те искания культурологов, которые связаны с усвоением направления, являющегося в последние десятилетия, пожалуй, одним из ведущих. Это постмодернизм. В первых своих проявлениях он был скорее явлением искусства - вначале течением литературы, затем архитектуры. Однако уже с конца 70-х годов постмодернизм приобретает черты философско-эстетической концепции, претендующей на роль мировоззрения, выражающего культурное самосознание эпохи конца XX столетия.

У постмодернизма уже есть своя история, которая ведет начало, конечно, от возникновения модернизма. Фактически для пересказа его эволюции необходим экскурс в историю культуры всего двадцатого века, что неоднократно проделывалось в обстоятельных научных трудах, достаточно почтенных и известных. Вспомним лишь вкратце, что «модерн» - поиск возможностей выражения нового мироощущения - был связан не только с созиданием, открытием новых форм для нового содержания, но и с постепенным упорным разрушением традиционных установок как содержательного, так и формального характера. Работа эта, продолжавшаяся в разных направлениях и с переменными успехами в течение столетия, не остановилась и ныне.

При всей сложности модернизма как явления, необходимо подчеркнуть, что дерзкое нарушение норм, разрушение стереотипов - черта, наиболее постоянно встречающаяся во всех его разновидностях. Постмодернизм унаследовал именно эту родовую черту и, не будучи сводимым к ней, все же без нее не может оставаться самим собою. Но у постмодернизма эта черта приобретает новый смысл, получает специальный термин - деструкция. (Деконструктивизм иногда рассматривается как синоним постструктурализма, иногда же исследователи подчеркивают его автономность, а американский критик Филип Льюис в 1982 году настаивал на том, что деконструктивизм - это часть «критического структурализма»). Независимо от оттенков, позволяющих различать эти направления, бесспорным является факт, что и постструктурализм, и деконструктивизм подготовили приход постмодернизма и, несмотря на

естественные и неизбежные моменты полемики, во многом обусловили его основные позиции.)

Собственно деконструктивизм как метод становится актуальным в связи с отказом постструктурализма от традиционного для структурализма принципа бинарной оппозиции, сводившего все отношения между знаками к наличию или отсутствию признака. Разрушение доктрины бинаризма привело к отказу от поисков универсального кода и к утверждению идеи «бесформенного хаоса», выдвинутой Ж. Делёзом в 1968 году в книге «Различие и повтор».

Видение мира как хаоса стало одной из ключевых позиций постмодернизма и привело в 80-е годы к появлению философского течения «постмодернистской чувствительности», связанного с именами Ж.-Ф. Лиотара, А. Меджилла, В. Вельша. Сложное переплетение методологических подходов семантики, психолингвистики, текстового анализа употребляется для решения еще более сложного сочетания философских, политических и художественных проблем. И. Ильин в работе «Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм» (М., 1996) высказывает мнение, что именно «типичное для постструктуралистского мышления постоянное гипостазирование мыслительных феноменов в онтологические сущности, наделяемые самостоятельным существованием, приводит к тому, что такие понятия, как «власть», «институт», «институция», «университет» приобретают мистическое значение самодовлеющих сил, живущих автономно и непонятным для человека образом влияющих на ход его мыслей, а следовательно, и на его поведение. Практика деконструкции и предназначена для демистификации подобных фантомов сознания» (с. 180).

Для постсоветского читателя (полжизни проведенного в тоскливом сознании невозможности примириться с запретностью любого анализа культурных ценностей, который может привести к незапланированным результатам, не одобряемым начальством) необыкновенно интересной кажется тема статьи Александра Жолковского «Анна Ахматова - пятьдесят лет спустя». А. Жолковский когда-то был опальным советским структуралистом. Затем эмигрировал и, судя по прессе, стал вполне благополучным профессором университета Южной Калифорнии в Лос-Анжелесе. Статья, впервые увидевшая свет в журнале «Звезда» в 1996 году (№ 9), перепечатана в № 1 за 1998 год «Толстым журналом», считающим своим долгом знакомить крымского читателя с наиболее интересными публикациями российских литературно-критических журналов. Задача «реvisions ахматовского мифа» сформулирована Жолковским вполне в русле постмодернистской традиции демифологизации, со ссылкой на ставшие классическими имена Фуко, Деррида, де Мана.

Предвкушение интеллектуального пиршества несколько омрачает априорное утверждение, что «ахматовский культ», который «оказался долговечнее ленинско-сталинского», - порождение ментальности именно «*homo soveticus`a*». Ментальность людей на территории Советского Союза была отнюдь не однородной; далеко не все они были хотя бы знакомы с творчеством Анны Ахматовой, те же, кто увлекались её поэзией, делали это не всегда с одинаковых или близких позиций. Коллонтай восхищало вовсе не то, что Твардовского, а Чуковскую - совсем не то, что Наймана. И кого именно из них можно отнести к вышеупомянутой категории «*homo soveticus*»?

Неожиданным оказывается и способ, каким А. Жолковский решает проблему сложности и многогранности ахматовской поэзии: он попросту отмахивается от самой поэзии, причем делает это с вызывающей простотой. Утверждает, что «Жизнь и Поэзия одно» (в первом томе воспоминаний Чуковской можно найти чрезвычайно интересные развернутые высказывания Ахматовой, опровергающие

это положение, но такое обстоятельство автором во внимание не принимается), - а далее безапелляционно сообщает, что ахматовские стихи являют «её отшлифованный почти до непроницаемости поэтический автопортрет». Уровень этой сентенции вполне достоин легендарного американского солдата, который, говорят, застрелил на сцене игравшего роль Отелло актера, «потому что невозможно смотреть, как негр душит белую женщину». Таким образом предмет исследования упрощается настолько, что ни проблемы, ни противоречия автору мешать более не должны - их нет. Они упразднены. Нет и не было никакой поэзии. Нет и не было сложной, изломанной судьбы поэта. Нет и поэта (раз уж нет поэзии).

Что же становится предметом рассмотрения? «Бытование фигуры «Анны Андреевны» как образца для подражания в современной российской культуре». Причем фигура берется не реальная, а мифическая. Автором мифа объявляется сама Ахматова, «прекрасно владевшая механизмами имидж-мейкинга», «особой технологией житнетворчества». Оказывается, это и было ее главным творением - миф о собственной значительности. «Все же тут броня авторского контроля нет-нет да и дает трещину, позволяющую заглянуть за кулисы житнетворческого спектакля. Тогда за медальным, «дантовским» профилем великой поэтессы, пророчицы, героини сопротивления, прекрасной статуи обнаруживается мучительная и не всегда привлекательная игра страха, высокомерия, актерства, садомазохизма, властолюбия». В подтверждение этого положения приводится ворох цитат из воспоминаний современников Ахматовой - без анализа стоящих за ними реальных обстоятельств и характеров, без учета тех свидетельств, которые не соответствуют заранее выбранной авторской задаче «разоблачить», «развенчать».

Увлеченность А. Жолковского благородным служением истине столь велика, что сам он не боится показаться смешным, домысливая поистине поразительные подробности биографии и поведения Ахматовой. Роясь в отрывочных сведениях о тяжелых для нее обстоятельствах разрыва с Гаршиным, пронизательный следователь с веселым изумлением перечисляет действия оскорбленной женщины: «уничтожение ею их переписки, запрещение знакомым упоминать о нем, снятие посвящений ему в «Поэме без героя» и, наконец, изображение его в стихах в виде чуть ли не бешеной собаки» (пронзительная боль этого стихотворения его ничуть не интересует) - и глубокомысленно разъясняет: «причины тотальной опалы, постигшей Гаршина, носили, по-видимому, не столько личный, сколько социокультурный характер». «Гаршину как бы предлагалось жениться не на женщине, а на литературном учреждении». (В каком году это выражение могло быть применимо вообще к Анне Ахматовой? Так - «литературным учреждением» - в шутку после революции называли Максима Горького, но разве это сравнимо?)

Бесцеремонно пересказывая дошедшие к нему слухи и домыслы, профессор возмущенно фыркает по поводу того, что, как сообщает Роскина, «Анна Андреевна... стала сердиться и тогда, когда вообще что-то становилось известно о ней, даже если это была правда». Жолковский видит здесь лишь желание не выпускать из-под контроля «творимую легенду», полностью игнорируя право общественной личности на частную жизнь и «забывая» про обрушенные на нее потоки грязи и клеветы, вызванные к жизни печально известным постановлением ЦК ВКП(б) 1946 года.

Власть концепции оказывается настолько сильна, что и само постановление рассматривается максимально свежим взглядом: «Звездный час Ахматовой, в разное время пострадавшей от советской власти, пробил полвека назад, в августе 1946 года...» А реальная личность, писавшая реальные стихи, интересует

профессора Жолковского не больше, чем она интересовала авторов упомянутого постановления.

В общем-то становится даже неловко при виде серьезных усилий, затраченных на разоблачения с поистине профессорской основательностью. Ведь если бы господин Жолковский вспомнил о стихах и обратился непосредственно к ним, то задача его была бы заметно упрощена - ведь в стихах лирическая героиня Ахматовой выглядит вполне земной женщиной, которой приходится испытывать и страх, и унижение, и ощущение своей неправоты, грешности и лживости, упреки «неумолимой совести», и эти стихи вовсе не являются апологией личности автора, а выражают достаточно глубокие, нередко трагические мысли и чувства. Правда, в таком случае пришлось бы все-таки признать наличие разницы между имиджмейкерством и поэзией, признать, что почитатели Ахматовой - не «совки», а люди, для которых ценности русской культуры существуют на самом деле. И поэзия Ахматовой в самые трагические для этой культуры годы помогала выжить и читателям, и поэту. Именно здесь источник силы и обаяния этого имени.

Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете, -
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Мне прислали по одной копейке,
Стала б я «богаче всех в Египте»,
Как говаривал Кузмин покойный.
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой,
И я стала всех сильнее на свете,
Так, что даже это мне не трудно.

Свойственным традициям русской классической поэзии уважение к личности человека, унаследованное Ахматовой и сохраненное ею в самых для этого неподходящих условиях, несовместимо с предложенной А. Жолковским схемой, согласно которой в тоталитарном государстве могла стать популярной и любимой только личность сугубо деспотическая и жестокая: по его мнению, «российский человек жаждет, чтобы им манипулировали и повелевали». Все эти лапидарные заявления носят настолько откровенно эпатажный характер, что спор по существу и вести как-то неловко. Предположить, что профессор Жолковский не знает элементарных истин, мы не можем. Но можем догадаться, что неправильно поняли в данном контексте смысл термина «деструкция». Не аналитический подход имел он в виду, а простое разрушение. И объект выбрал из тех, разрушение которых будет воспринято как невероятное, недопустимое событие - вроде пожара в одном из семи чудес света - храме Артемиды Эфесской. Нельзя Герострату без храма!

Конечно, прямо свои желания в таком случае обозначать не принято. Можно придать им характер научного исследования: «Ревизия ахматовского мифа предпринимается здесь в русле общего отказа от представления о себе и «своих» как носителях безупречно истинного, ибо несправедливо гонимого, мировоззрения - в пользу взгляда на всю эту среду как на особую экзотическую культуру». Таким образом, попытка разрушения культурной ценности получает важное обоснование. Экзотическим курьезом объявляется не только данное культурное явление, но и вся культура, к которой оно принадлежит. Вопрос о значении гуманистических ценностей данной культуры не обсуждается, хотя и бегло затрагивается: «Взятая в своем историческом контексте, эта, так сказать, христианско-экзистенциалистская система ценностей обнаруживает характерные квазисоветские обертоны».

Похоже, что для А. Жолковского в равной мере презренны не только «квазисоветские обертоны», но и вполне принадлежащие европейской культуре ценности христианские и экзистенциалистские.

В общем-то это закономерно, ибо столь откровенное презрение к личности поэта, видимо, только и возможно при полном отрицании ценностей гуманистической культуры как таковых. Любопытно вспомнить, что К. Юнг в «Психологии переноса», отмечая необходимость «иметь не только личное сознание настоящего, но и сверхличное сознание, дух которого ощущает историческую непрерывность», подчеркивал, что «значимость индивидуального смысла жизни отрицают люди, находящиеся ниже уровня социальной нормы, а также тот, кто любит чувствовать себя пастырем». Ниже уровня социальной нормы как раз наблюдается вполне узнаваемый объект - тот самый «homo soveticus», человек массы, неотделимый от своих пастырей, так долго твердивших ему, что «незаменимых нет» (кроме них самих, разумеется). К какой из этих двух категорий можно отнести нашего разрушителя мифов, порожденных тоталитарным режимом? Не порождено ли этим режимом и его собственное сознание? Жолковский восклицает: «...российская модель развития, в которой единственным новым оказывается забытое старое, уже не вызывает у меня энтузиазма». А за этим можно расслышать: «Довольно жить законом, / Данным Адамом и Евой», а также «Весь мир насилья мы разроем».

Однако причем же здесь собственно постмодернизм? Получается, что деструктивный подход - оружие обоюдоострое, позволяющее увидеть некоторые особенности не только анализируемого объекта, но и анализирующего субъекта. Презрение к традициям отечественной культуры свидетельствует в рассматриваемом случае не столько о приобщении к новым, более мощным культурным тенденциям, сколько о неспособности вырваться из заколдованного круга устаревших поведенческих моделей. Может быть, этот факт стоит рассматривать как доказательство необходимости их действительно основательного критического анализа?